

О гражданском неповиновении

1849, источник: [здесь](#)

Написано в 1848 г. Впервые опубликовано в издававшемся Элизабет Пибоди Журнале эстетики в 1849 г. под названием Сопrotивление гражданскому правительству.

Я всецело согласен с утверждением: Лучшее правительство то, которое правит как можно меньше[1], — и хотел бы, чтобы оно осуществлялось быстрее и более систематически. Осуществленное, оно сводится в конце концов — и за это я тоже стою — к девизу: Лучшее правительство то, которое не правит вовсе, а когда люди будут к этому готовы, то именно такие правительства у них и будут. Правительство является в лучшем случае всего лишь средством, но большинство правительств обычно—а иногда и все они—являются средствами недейственными. Возражения, приводившиеся против постоянной армии, — а они многочисленны и вески и должны бы восторжествовать — могут быть выдвинуты также и против постоянного правительства. Постоянная армия — это всего лишь рука постоянного правительства. Само правительство, являющееся только формой, в которой народу угодно осуществлять свою волю, тоже ведь может быть обращено во зло, прежде чем народ совершит через него то, что хочет. Доказательством служит нынешняя война в Мексике, затеянная небольшой группой людей, которые использовали постоянное правительство в качестве своего орудия, ибо народ с самого начала не согласился бы на такую меру.

А что такое американское правительство, как не традиция, хотя и недавняя, пытающаяся себя увековечить, но ежеминутно теряющая что-то от своей чистоты? Оно не обладает жизненной силой даже одного человека, ибо один человек может подчинить его своей воле. Для народа это нечто вроде деревянного ружья. Но от этого оно не менее необходимо; ибо народу нужен тот или иной сложный механизм, и притом шумный, чтобы чувствовать, что у него действительно есть правительство. Правительства, таким образом, доказывают, как легко удастся для их же пользы обманывать людей и как они обманывают себя сами. Отличная вещь, мы все должны это признать; однако наше правительство еще ни разу само не способствовало никакому делу иначе, как быстро устраняясь с дороги. Не оно охраняет свободу страны. Не оно заселяет Запад. Не оно распространяет просвещение. Все это достигнуто благодаря чертам, присущим американскому народу, и достижений было бы больше, если бы правительство иной раз не мешало этому. Ибо правительство — это средство, с помощью которого люди хотели бы не мешать друг другу, и, как уже было сказано, это средство всегда наиболее действенно, когда меньше всего мешает своим подданным. Если бы торговля не была по своей природе резиновой, она никогда не смогла бы перепрыгивать все препятствия, какие воздвигают на ее пути законодатели; и если бы

судить их только по результатам их действий, не учитывая их намерений, их следовало бы карать как тех злоумышленников, которые кладут посторонние предметы на рельсы.

Если говорить конкретно и как гражданин, а не как те, кто отрицает всякое правительство, я требую не немедленной отмены правительства, но его немедленного улучшения. Пусть каждый объявит, какое правительство он готов уважать, и это уже будет шагом к такому правительству.

Когда народ, получив в свои руки власть, передает ее большинству и долгое время позволяет ему править, это происходит не потому, что оно правит наиболее справедливо, и не потому, что это представляется всего справедливее по отношению к меньшинству, но по той простой причине, что оно физически сильнее. Но правительство, где правит большинство, не может быть основано на справедливости даже в том ограниченном смысле, в каком ее понимают люди. Неужели невозможно такое правительство, где о правде и неправде судило бы не большинство, а совесть? Где большинство решало бы лишь те вопросы, к которым приложима мерка целесообразности? Неужели гражданин должен, хотя бы на миг или в малейшей степени, передавать свою совесть в руки законодателя? К чему тогда каждому человеку совесть? Я считаю, что мы должны быть сперва людьми, а потом уж подданными правительства. Желательно воспитывать уважение не столько к закону, сколько к справедливости. Единственная обязанность, какую я имею право на себя брать, — это обязанность всегда поступать так, как мне кажется правильным. Справедливо говорят, что у корпорации нет совести; но корпорация, состоящая из совестливых людей, имеет совесть. Закон никогда еще не делал людей сколько-нибудь справедливее; а из уважения к нему даже порядочные люди ежедневно становятся орудиями несправедливости. Обычным и естественным следствием чрезмерного уважения к закону является войско с капитаном, капралом, рядовыми, подносчиками пороха и всеми прочими, в стройном порядке направляющееся по горам, по долам на войну наперекор своему желанию и даже здравому смыслу и совести — а это делает поход очень трудным и вызывает сердцебиение. Солдаты не сомневаются, что ввязались в скверное дело; все они настроены миролюбиво. Так кто же они? Люди или небольшие передвижные форты и пороховые склады, находящиеся в распоряжении какого-нибудь бессовестного человека, стоящего у власти? Посетите военный порт и взгляните на военного матроса: вот какого человека вырастило американское правительство, вот кого оно умеет вырастить с помощью своей черной магии — не человека, а тень, можно сказать, живого покойника, уже похороненного с воинскими почестями, —

“ Не бил барабан перед смутным полком,
Когда мы его хоронили.
И труп не с ружейным прощальным огнем
Мы в недра земля опустили[2].

Именно так служит государству большинство—не столько как люди, сколько в качестве машин, своими телами. Они составляют постоянную армию, милицию, тюремщиков, служат понятыми шерифу и т. п. В большинстве случаев им совершенно не приходится при этом применять рассудок или нравственное чувство: они низведены до уровня дерева, земли и

камней; быть может, удастся смастерить деревянных людей, которые будут не менее пригодны. Такие вызывают не больше уважения, чем соломенные чучела или глиняные иды. Они стоят не больше, чем лошади и собаки. Однако даже они считаются обычно за хороших граждан. Другие, как, например, большинство законодателей, политических деятелей, юристов, священников и чиновников, служат государству преимущественно мозгами; и так как они редко бывают способны видеть нравственные различия, то, сами того не сознавая, могут служить как дьяволу, так и богу. Очень немногие — герои, патриоты, мученики, реформаторы в высоком смысле и настоящие люди—служат государству также и своей совестью, а потому чаще всего оказывают ему сопротивление, и оно обычно считает их за своих врагов. Мудрый человек согласен приносить пользу именно в качестве человека и не соглашается быть глиной и затыкать дыру, чтобы не дуло[3], оставляя эту роль хотя бы своему праху:

“ ...так высок мой род,
Что не могу я быть ничьим слугой,
Приказы получать, как подчиненный,
Как подданный, и быть слепым орудьем
Какой-нибудь державы[4].

Кто всецело отдает себя ближним, представляется им бесполезным и себялюбивым; а кто отдает себя им лишь частично, объявляется благодетелем человеческого рода.

Как же надлежит человеку в наше время относиться к американскому правительству? Я отвечаю, что он не может связать себя с ним, не навлекая на себя позора. Я ни на миг не согласен признать своим правительством политическую организацию, которая является правительством раба.

Все признают право на революцию, то есть право не присягать и оказывать сопротивление правительству, когда его тирания или его неспособность становятся нестерпимы. Однако почти все говорят, что сейчас дело обстоит не так. Но так обстояло дело, по их мнению, во время революции 1775 года. Если бы мне сказали, что то было плохое правительство, потому что оно облагало пошлиной некоторые иностранные товары, доставлявшиеся в его порты, я, скорее всего, не стал бы поднимать из-за этого шума, потому что без этих товаров могу обойтись. Известное трение есть в каждой машине, и возможно, что эта машина делает достаточно полезного, чтобы свести на нет зло. Во всяком случае, большим злом будет поднимать из-за этого шум. Но когда у трения появляется своя машина, а угнетение и грабеж делаются организованными, я говорю: не надо нам такой машины. Другими словами, когда шестая часть населения страны, провозгласившей себя прибежищем свободы, является рабами, а всю страну наводняют чужеземные войска и вводят там военные законы, я считаю, что для честных людей настало время восстать и совершить революцию. Это тем более неотложный долг, что захваченная страна — не наша, а армия захватчиков — наша[5].

Пэли[6], для многих главный авторитет в вопросах нравственности, в своей главе о Долге повиновения гражданским властям сводит гражданский долг к выгоде и далее говорит: Пока того требуют интересы всего общества, то есть пока нельзя противиться законному

правительству или сменить его, не причиняя обществу неудобств, бог велит повиноваться этому правительству, но именно до тех пор, а не долее. Исходя из этого принципа, справедливость каждого случая сопротивления решается сравнением накопившихся несправедливостей с издержками их возможного исправления. Об этом, говорит он, каждый должен судить сам. Но Пэли, как видно, не задумывался над случаями, когда принцип выгоды неприменим и когда народ, как и отдельный человек, должен добиться справедливости любой ценой. Если я несправедливо вырвал доску у тонущего человека, я должен вернуть ее, хотя бы при этом сам утонул[7]. Это, согласно Пэли, было бы неудобно. Но тот, кто в подобном случае хочет душу свою сберечь, потеряет ее[8]. Наш народ не должен иметь рабов и воевать с Мексикой, хотя бы это стоило ему существования как нации.

В своей практике нации согласны с Пэли; но неужели кто-нибудь считает, что Массачусетс в нынешнем кризисе поступает по справедливости?

“ На троне и в парче, а все же неряха-девка,
Шлейф подобрал, в грязи волочит душу.

В сущности, противниками реформы в Массачусетсе являются не сто тысяч политических деятелей Юга, а здешние сто тысяч торговцев и фермеров, которым торговля земледелие дороже человечности и которые не расположены поступить по справедливости с рабами и с Мексикой, чего бы это ни стоило. Я бросаю обвинение не далеким противникам, а тем, кто в нашей стране сотрудничает с ними и вершит их волю и без которых противники были бы безвредны. Мы любим повторять, что народные массы не готовы, но прогресс так медлителен потому, что избранные не намного мудрее или лучше большинства. Не столь важно, чтобы многие были так же хороши, как вы, важнее, чтобы существовало где-то абсолютное добро и служило закваской для всего теста[9]. Есть тысячи людей, по убеждениям противники рабства и войны, которые решительно ничего не делают, чтобы положить этому конец; которые, считая себя наследниками Вашингтона и Франклина, сидят сложа руки и говорят, что не знают, что делать, и не делают ничего; которые даже откладывают вопрос о свободе до решения вопроса о свободной торговле и спокойно читают после обеда прејскуранты вместе с последними вестями из Мексики и засыпают над ними. А каковы нынешние расценки на честного человека и патриота? Они сожалеют, иногда составляют петиции; но ничего не делают всерьез и с толком. Они ждут очень сочувственно, чтобы другие устранили зло и чтоб им больше не пришлось огорчаться из-за него. Самое большее, на что они готовы для правого дела, — это ничего не стоящее голосование, вялая поддержка и пожелание удачи. На одного добродетельного человека приходится девятьсот девяносто девять покровителей добродетели; но легче иметь дело с обладателем чего-нибудь, чем с его временным хранителем.

Всякое голосование подобно игре, вроде шашек или триктрака, с некоторым моральным оттенком, игре с правдой и неправдой, с нравственными проблемами, и естественно, что делаются ставки. Репутация играющих на кон не ставится. Я, может быть, и голосую, как считаю справедливым, но не заинтересован кровно в том, чтобы справедливость победила. Я готов предоставить это решению большинства. Поэтому дело не идет дальше

соображений целесообразности. Даже голосовать за справедливость еще не значит действовать за нее. Вы всего лишь тихо выражаете ваше желание, чтобы она победила. Мудрый не оставляет справедливость на волю случая и не хочет, чтобы она победила силою большинства. В действиях человеческих масс не много силы. Когда большинство проголосует наконец за отмену рабства, то потому, что оно безразлично к рабству, или потому, что останется очень мало рабства, подлежащего отмене. Тогда единственным рабом будет оно само. Приблизить уничтожение рабства может только тот голосующий, который утверждает этим собственную свою свободу.

Я слышу, что в Балтиморе или где-то еще для избрания кандидата в президенты соберется съезд[10] преимущественно из газетных издателей и профессиональных политиков; но для независимого, разумного и порядочного человека не все ли равно, к какому решению этот съезд придет? Выше ли он нас своим разумом, порядочностью? Неужели мы не можем рассчитывать на независимые голоса? Разве мало в стране людей, которые не присутствуют на съездах? Но нет: оказывается, так называемый порядочный человек изменил свою позицию и махнул рукой на страну, когда у страны больше оснований махнуть рукой на него. Он немедленно объявляет одного из избранных таким образом кандидатов единственно годным, доказывая этим, что сам он годен демагогам для любой их цели. Голос его имеет не больше цены, чем голос любого беспринципного чужеземца или подкупленного избирателя. Где же настоящий человек, мужчина, такой, которому хребет рукой не согнешь, как говорит мой сосед! Наша статистика ошибается: населения у нас вовсе не так много. Сколько мужчин приходится на тысячу квадратных миль? Едва ли наберется один. Значит, Америка не представляет собой ничего привлекательного для поселенцев? Американец выродился в чудака[11] — существо, которое можно опознать по органу стадности и явному недостатку интеллекта и уверенности в себе; которое, являясь на свет, прежде всего и более всего озабочено состоянием богаделен; и, еще не достигнув совершеннолетия, копит в фонд возможной вдовы и сирот; словом, отваживается жить только благодаря страховой компании, обещавшей ему приличные похороны.

Человек не обязан непременно посвятить себя искоренению даже самого большого зла; он имеет право и на другие заботы; но долг велит ему хотя бы сторониться зла; и если не думать о нем, то не оказывать поддержки. Если я предаюсь иным занятиям и размышлениям, мне надо хотя бы убедиться прежде, не предаюсь ли я им, сидя на чьей-то спине. Я должен сперва слезть с нее, чтобы и тот, другой, мог предаться созерцанию. Смотрите, какова непоследовательность. Я слышал, как иные из моих земляков говорят: Пускай попробуют послать меня подавлять восстание рабов или в Мексику — так я и пойду! — и, однако, каждый из этих людей прямо, своей поддержкой правительства, или по крайней мере косвенно, своими деньгами, обеспечивает вместо себя заместителя. Хвалят солдата за отказ участвовать в несправедливой войне, а сами не отказываются поддерживать несправедливое правительство, которое эту войну ведет; хвалят того, кто бросает вызов их поведению и авторитету, как если бы штат настолько каялся в грехах, что нанял кого-то бичевать себя, но не настолько, чтобы хоть на миг перестать грешить. Вот так, под видом Порядка и гражданского повиновения, всем нам приходится оказывать уважение и поддержку собственной подлости. Сперва грешник краснеет, потом становится равнодушен к своему греху, а безнравственность становится как бы безотносительной к нравственности и не бесполезной для той жизни, какую мы создали.

Величайшее и самое распространенное заблуждение нуждается в поддержке самой бескорыстной добродетели. Легкий упрек, какой обычно адресуют патриотизму, чаще всего навлекают на себя люди благородные. Те, кто осуждает правительство и его мероприятия и одновременно поддерживает его, являются несомненно самыми добросовестными его сторонниками и зачастую наибольшим препятствием на пути реформ. Кое-кто петициями требует от штата выйти из Союза, пренебречь требованиями президента. Отчего они сами не расторгнут собственный союз со штатом и не откажутся вносить деньги в его казну? Разве они не находятся в тех же отношениях к штату, как штат — к Союзу? И разве не те же причины мешают штату сопротивляться Союзу, какие мешают им сопротивляться штату?

Как может человек иметь определенное мнение и на этом успокоиться? Можно ли успокоиться, если ваше мнение состоит в том, что вас обидели? Если сосед обманул вас на доллар, вы не довольствуетесь сознанием того, что обмануты, или заявлением об этом, или даже петициями о возвращении причитающейся вам суммы; вы сразу же предпринимаете практические шаги, чтобы получить ее сполна и не быть обманутым впредь. Поступок, продиктованный принципом, осознание справедливости и ее свершение изменяют вещи и отношения; он революционен по своей сути и не совместим вполне ни с чем, что было до того. Он не только раскалывает государства и церкви, он разделяет семьи; более того: вносит раскол и в отдельную душу, отмежевывая в ней дьявольское от божественного.

Несправедливые законы существуют; будем ли мы покорно им повиноваться, или попытаемся их изменить, продолжая пока что повиноваться им, или же нарушим их сразу? При таком правительстве, как наше, люди чаще всего считают, что следует ждать, пока не удастся убедить большинство изменить законы. Они полагают, что сопротивление было бы большим злом. Но если это действительно большее из двух зол, то виновато в этом само правительство. Именно оно делает его большим злом. Отчего оно неспособно идти навстречу реформам? Отчего не ценит разумное меньшинство? Зачем сопротивляется и кричит раньше, чем его ударили? Отчего не поощряет в своих гражданах бдительность к своим недостаткам и более правильные поступки, чем те, на которые оно их толкает? Зачем оно всегда распинает Христа, отлучает Коперника и Лютера и объявляет мятежниками Вашингтона и Франклина?

По-видимому, обдуманное и подкрепленное действием непризнание его власти является единственным проступком, которое правительство не сумело предусмотреть; иначе почему за него не положено определенной и соразмерной кары? Если человек, не имеющий собственности, хоть однажды откажется заработать для правительства девять шиллингов, его заключают в тюрьму на срок не ограниченный никаким известным мне законом и определяемый только по усмотрению лиц, которые его туда заключили; а если он украдет у государства девяносто раз по девяти шиллингов, его скоро выпускают на свободу.

Если несправедливость составляет неизбежную часть трения правительственной машины, то пусть себе вертится, пусть; авось трение мало-помалу уменьшится, и, уж конечно, износится машина. Если несправедливость зависит от какой-то одной пружины, или шкива, или троса, или рычага, тогда, быть может, придется задуматься, не будет ли исправление зла злом еще худшим; но если она такова, что требует от вас вершить несправедливость в отношении другого, тогда я скажу: такой закон надо нарушить. Пусть твоя жизнь станет

тормозящей силой и остановит машину. Я, во всяком случае, должен позаботиться, чтобы не поддаться злу, которое я осуждаю.

Что касается средств исправления зла, предлагаемых государством, то мне такие средства неизвестны. Слишком много времени они требуют, на это уйдет вся жизнь. А у меня есть другие дела. Я явился в этот мир не столько затем, чтобы сделать его местом, удобным для жилья, сколько затем, чтобы в нем жить, хорош он или плох. Человеку дано сделать не все, а лишь что-то; и именно потому, что он не может сделать всего, не надо, чтобы это что-то он делал неправильно. Не мое дело слать петиции губернатору или законодательным учреждениям, как и не их дело — слать петиции мне; и если на мою петицию они не обратят внимания, что мне делать тогда? В этом случае государство не предусматривает никакого выхода; именно его конституция и является злом. Это, быть может, звучит резко, упрямо и непримиримо, но именно так я проявляю наибольшую бережность и уважение к той человеческой сущности, которая этого заслуживает или может понять. Таковы все перемены к лучшему, как, например, рождение и смерть, от которых тело содрогается в конвульсиях.

Я не колеблясь заявляю, что все, называющие себя аболиционистами, должны немедленно отказаться в какой бы то ни было поддержке правительству штата Массачусетс, а не ждать для защиты правого дела, чтобы составилось большинство в один голос. Я полагаю, что им достаточно иметь на своей стороне бога и не надо ждать еще одного сторонника. К тому же любой человек, который больше прав, чем его ближние, уже составляет большинство в один голос.

С американским правительством, или его представителем — правительством штата, я встречаюсь непосредственно и лицом к лицу раз в году — не чаще — в образе сборщика налогов; такова единственная обязательная встреча с ним для человека в моем положении; и оно при этой встрече явственно говорит: Признай меня! И самый простой и действенный, а при нынешнем положении дел самый необходимый способ говорить с ним, выразить ему, как вы им недовольны и как его не любите, это — отказаться ему. Мой учтивый сосед, сборщик налогов, — вот с кем мне приходится иметь дело, потому что, в сущности, мои претензии обращены к людям, а не к пергаменту, а он добровольно стал агентом правительства. Разве сможет он узнать, что он собой представляет и как правительственный чиновник, и как человек, пока ему не придется подумать, как отнестись ко мне, своему соседу, которого он уважает, — как к соседу и порядочному человеку или как к сумасшедшему и нарушителю спокойствия, — и попробовать преодолеть это препятствие для добрососедских отношений, не позволяя себе при этом необдуманных и грубых слов и мыслей. Зато я хорошо знаю, что, если бы тысяча, или сто, или десять человек, которых я мог бы перечислить, — всего десять честных людей — или даже один честный человек в нашем штате Массачусетс отказался владеть рабами, вышел бы из этого сообщества и был бы за это посажен в тюрьму, это означало бы уничтожение рабства в Америке. Не важно, если начало скромное; что однажды сделано хорошо, то сделано навечно. Но мы предпочитаем говорить и в этом усматриваем свою миссию. На службе Реформы состоят дюжины газет, но ни одного человека. Если бы мой уважаемый сосед, посланник штата, который посвятил свою жизнь вопросу о правах человека в Верховном суде, вместо того чтобы считать главной угрозой тюрьмы в Каролине[12], имел в виду Массачусетс, старающийся свалить грех рабовладения на другой

штат — хотя до сих пор поводом для ссоры между ними может быть только недостаток гостеприимства, — законодательные власти не стали бы будущей зимой снимать этот вопрос с повестки. При правительстве, которое несправедливо заключает в тюрьму, самое подходящее место для справедливого человека — в тюрьме. Сейчас самое лучшее место, единственное, какое Массачусетс приготовил для своих самых свободолюбивых, не павших духом жителей, — это тюрьмы, где он отрекается от них, как они уже отреклись от него благодаря своим убеждениям. Именно здесь должен их находить беглый раб, мексиканский военнопленный, отпущенный под честное слово, и индеец — ходатай за обиженных соплеменников; здесь, на особой, но более свободной и почетной территории, куда штат помещает тех, кто не с ним, а против него, — единственный дом в рабовладельческом штате, где свободный человек может жить с честью. Если кто-либо думает, что здесь он утратит свое влияние, и его голос не дойдет до ушей Штата, и он не будет в этих стенах представлять собой противника, значит, он не знает, насколько истина сильнее заблуждения и насколько красноречивее и успешнее может бороться с несправедливостью тот, кто хоть отчасти испытал ее на себе. Подавать голос надо не в виде бумажного бюллетеня, а всего своего влияния. Меньшинство бессильно, когда подчиняется большинству; тогда оно даже и не меньшинство; но оно всеильно, когда противится из всех сил. Если Штату предоставится выбор — держать всех справедливых людей в тюрьме или отказаться от войны и рабовладения, он не поколеблется. Если бы в этом году тысяча человек отказались платить налоги, не было бы ни насилия, ни кровопролития, какие вызовет уплата налога, которая позволит Штату совершать насилия и проливать невинную кровь. Это была бы именно мирная революция, если такая возможна. Когда сборщик налогов или другой чиновник спрашивает меня, как уже сделал один из них: Но что я могу сделать?, я отвечаю: Если действительно хотите что-то сделать, подайте в отставку. Если подданный отказывается повиноваться, а чиновник отказывается от должности, революция свершилась. Но положим даже, что прольется кровь. А разве из раненой совести не льется кровь? Из этой раны вытекает все мужество и бессмертие человека, истекая этой кровью, он умирает навеки. Вот эта кровь и льется сейчас. Я ждал тюремного заключения, а не описи имущества — хотя то и другое служит одной цели, — потому что те, кто отстаивает чистую справедливость и, следовательно, всего опаснее для продажного государства, обычно не тратят времени на накопление имущества. Таким государство оказывает сравнительно мало услуг, и даже небольшой налог может показаться непомерным, особенно если им приходится заработать его трудами своих рук. Если бы нашлся человек, вовсе обходящийся без денег, даже государство не решилось бы требовать их с него. А богач — говорю это безо всяких обидных сравнений — всегда продан тем установлениям, которым он обязан своим богатством. Вообще говоря, чем больше денег, тем меньше добродетели: потому что деньги становятся между человеком и его желаниями и осуществляют их вместо него, а это, конечно, не большая заслуга. Они решают множество вопросов, на которые ему иначе пришлось бы отвечать, а единственным новым вопросом оказывается трудный, но излишний вопрос: как их истратить? Так выбивается у него из-под ног нравственная почва. Возможности жизни уменьшаются с возрастанием так называемых средств к жизни. Самое лучшее, что человек может сделать для своей культуры, когда разбогатеет, это — попытаться осуществить те планы, какие у него были, когда он был беден. Христос ответил ироди-анам по их разумению. Покажите мне монету, которую платится подать[13], — сказал он, и один из них вынул из кармана пенни. Если у вас в ходу деньги с изображением кесаря, которые им обеспечены и пущены в обращение, то есть если вы люди государственные и

охотно пользуетесь благами кесарева правления, то и платите ему его же монетою, когда он с вас требует. Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу[14], а какое — чье, они так и ве разобрались, потому что не хотели знать.

Беседуя с наиболее свободомыслящими из моих соседей, я замечаю, что, сколько бы они ни говорили о серьезности вопроса и о своем уважении к общественному спокойствию, дело сводится к тому, что им нужна защита существующего правительства и они опасаются последствий неповиновения для своего имущества и своих семей. Что касается меня, то мне не хочется думать, что я нахожусь под защитой государства. Но если я брошу ему вызов, когда оно потребует с меня налог, оно скоро заберет все мое имущество и не даст покоя ни мне, ни моим детям. Это плохо. Человеку невозможно жить честно и в то же время в достатке и уважении. Не стоит накапливать имущество; наверняка скоро его потеряешь. Надо быть арендатором или скваттером, поменьше сеять и поскорее все съесть. Надо жить внутренней жизнью, полагаться на себя, постоянно быть готовым сняться с места и не заводить множества дел. Разбогатеть можно даже в Турции, если во всем быть примерным подданным турецкого правительства. Конфуций говорит: Когда государство управляется согласно с разумом, постыдна бедность и нужда; когда государство не управляется согласно с разумом, то постыдны богатство и почести[15]. Итак, пока мне не нужна защита Массачусетса в какой-нибудь дальней Южной гавани, где грозит опасность моей свободе, пока я не стремлюсь здесь у себя скопить богатства мирным предпринимательством, я могу себе позволить отказать Массачусетсу в повиновении и в правах на мое имущество и жизнь. Кара за неповиновение правительству во всех смыслах обойдется мне дешевле, чем повиновение. В последнем случае я буду чувствовать, что сам стою меньше.

Несколько лет назад правительство предъявило мне счет в пользу церкви и велело уплатить некую сумму на содержание священника, чьи проповеди посещал мой отец, но никогда не посещал я сам. Плати, — сказали мне, — иначе сядешь в тюрьму. Я отказался платить. К сожалению, некто другой счел нужным уплатить эту сумму. Я не понимаю, почему берут налог с учителя в пользу священника, а не наоборот; как учителя меня содержало не государство, а добровольная подписка. Я не понимаю, почему бы школе, а не только церкви не собирать в свою пользу налог с помощью правительства. Однако, по требованию городского управления, я согласился сделать следующее письменное заявление: Да будет всем известно, что я, Генри Торо, не желаю считаться членом какой бы то ни было официальной организации, в которую я не вступал. Это заявление я вручил секретарю городской корпорации, который ее и хранит. С тех пор правительство, уведомленное о том, что я не хочу считаться членом этой церковной общины, больше не предъявляло ко мне подобных требований, хотя в тот раз настаивало на своей претензии. Если бы я знал, как они называются, я тут же выписался бы из всех организаций, в которые никогда не записывался; но я не знал, где найти их полный список.

Я уже шесть лет не плачу избирательный налог. Однажды я был за это заключен в тюрьму на одну ночь[16]; разглядывая прочные каменные стены толщиной в два-три фута, окованную железом дверь толщиной в фут и железную решетку, едва пропускавшую свет, я был поражен глупостью этого учреждения, которое обращалось со мной так, словно я всего лишь кровь, плоть и кости, которые можно держать под замком. Я подивился, что выбрали именно этот способ меня использовать и не додумались, что я могу пригодиться на что-

нибудь другое. Я понял, что если меня отделяет от моих сограждан каменная стена, то им нужно пробиться или перелезть через еще более высокую стену, чтобы достичь свободы, какую располагаю я. Ни на миг я не почувствовал себя лишенным свободы, а стены были просто напрасной тратой камня и известки. Я чувствовал себя так, как будто один лишь я уплатил налог. Они явно не знали, как со мной обращаться, и вели себя как дурно воспитанные люди. Как угрозы, так и уговоры были ошибкой; ибо они думали, что главным моим желанием было оказаться по другую сторону этой каменной стены. Я невольно улыбался, глядя, как старательно они запирали дверь за моими мыслями, которые выходили беспрепятственно, а ведь только они и представляли опасность. Бессильные добраться до меня самого, они решили покарать мое тело; совсем как мальчишки, которые, если не могут расправиться с кем-нибудь, на кого они злы, вымещают это на его собаке. Я понял, что государство слабоумно, что оно трясется, как одинокая женщина за свои серебряные ложки, и не отличает друзей от врагов; я потерял к нему последние остатки уважения и почувствовал жалость.

Итак, государство никогда намеренно не угрожает разуму или нравственному чувству человека, а только его телу и пяти чувствам. Оно вооружено не превосходящей мудростью или честностью, а только физической мощью. А я не затем родился, чтобы терпеть насилие. Я хочу дышать по-своему. Посмотрим же, кто сильнее. Какой силой наделена толпа? Принудить меня могут только те, кто подчиняется высшему, чем я, закону. А они принуждают меня уподобиться им самим. Я не слышал, чтобы множеству людей удавалось принудить человека жить именно так, а не этак. Какая бы это была жизнь? Когда мне встречается правительство, которое говорит мне: Кошелек или жизнь, к чему мне спешить отдавать кошелек? Быть может, оно находится в крайней нужде и не знает, что делать; но я тут ни при чем. Пускай выпутывается само, как делаю я. Хныкать над этим не стоит. Я не ответствен за исправную работу общественной машины. Я не сын инженера, который ее изобрел. Я вижу, что, когда желудь и каштан падают рядом, ни один из них не впадает в оцепенение, чтобы дать дорогу другому; каждый следует собственному закону, пробивается, растет и цветет, как умеет, пока один, быть может, не заслонит другого. Если растение не может жить согласно своей природе, оно гибнет; так же и человек.

Ночь в тюрьме оказалась чем-то новым и довольно интересным. Когда я вошел, заключенные, сняв сюртуки, болтали и дышали вечерним воздухом в дверях. Но тюремщик сказал: Пора запирать, ребята, и они разошлись, и я услышал, как в камерах гулко раздались их шаги. Моего соседа по камере тюремщик представил мне как отличного парня и умного человека. Когда дверь заперли, он показал мне, куда повесить шляпу и как все устроено. Камеры ежемесячно белили; и эта, во всяком случае, была самой белой, проще всего обставленной и опрятной комнатой во всем городе. Он, конечно, пожелал узнать, откуда я и почему оказался здесь; я рассказал ему, а затем в свою очередь спросил, как он сюда попал, предполагая, что это честный человек; по существующим понятиям, таким он и был. Меня обвиняют в том, что я сжег амбар, — сказал он, — а я этого не делал. Насколько я мог понять, вероятно, он, пьяный, курил в амбаре трубку и заснул там; вот амбар и сгорел. Он слыл умным человеком, ждал суда уже три месяца и должен был прождать еще столько же; но он тут совсем обжился и был доволен, потому что кормили бесплатно и обходились, по его мнению, хорошо.

Он занимал одно из окон, я — другое; и я увидел, что для тех, кто находится тут долго, главным занятием становится смотреть из окна. Я скоро прочел все душевспасительные брошюры, какие были, посмотрел, откуда бежали в свое время заключенные и где была перепилена решетка, и прослушал рассказ о прежних обитателях камеры; оказалось, что и здесь есть своя история и свои сплетни, никогда не выходящие за стены тюрьмы. Вероятно, это единственный дом в городе, где сочиняют стихи, которые затем переписываются, но не издаются. Мне показали множество переписанных стихов, сочиненных некими юношами, пойманными при попытке к бегству, которые затем распевали их в отместку.

Я постарался выведать у моего товарища по заключению все, что можно, опасаясь, что больше его не встречу, но наконец он показал мне, где лечь, и велел задуть лампу. Провести здесь ночь было все равно что побывать в дальней стране, куда я никогда не предполагал попасть. Мне казалось, что я никогда прежде не слышал боя городских часов и звуков засыпающего селения; ибо мы спали с открытыми окнами, а решетка была снаружи. Родное селение предстало мне как бы средневековым. Конкорд превратился в Рейн, и передо мною прошли видения рыцарей и замков. С улицы доносились голоса старых бюргеров. Я стал невольным свидетелем всего, что делалось и говорилось в кухне соседнего постоянного двора — это было для меня нечто совершенно новое и редкостное. Я как бы увидел родной город вблизи, почти изнутри. Раньше я никогда не видел его учреждений. А тут было одно из них, потому что это главный город графства. Я начал разбираться в делах его жителей.

Утром нам через отверстие в двери дали завтрак в маленьких оловянных кастрюлях соответствующих размеров, вмещавших пинту шоколада, а также темного хлеба и жестяную ложку. Когда пришли за посудой, я по неопытности вернул остатки хлеба, но мой товарищ схватил его и сказал, что его надо приберечь ко второму завтраку или к обеду. Вскоре его повели на работу в поле, где он должен был до полудня сгрести сено, и он попрощался со мной, считая, что больше мы не свидимся.

Когда я вышел из тюрьмы — ибо кто-то вмешался и уплатил налог[17], — я не заметил тех перемен в окружающем, какие видел заключенный, входивший сюда юношей, а выходящий дряхлым седым старцем; и все же что-то для меня изменилось — город, штат и страна — больше, чем могло бы измениться просто от времени. Я яснее увидел штат, в котором живу. Я увидел, насколько можно полагаться на соседские и дружеские чувства людей, среди которых я живу; увидел, что дружба их — только до черного дня; что они не расположены поступать по справедливости; что их предрассудки и суеверия делают их таким же чуждым мне племенем, как китайцы и малайцы; что ради человечности они не согласны рисковать ничем, даже имуществом; что не так уж они великодушны, чтобы не поступать с вором так же, как он с ними, и надеются спасти свои души соблюдением некоторых внешних правил, несколькими молитвами и тем, что иногда идут прямым, хотя и бесполезным путем. Быть может, я сужу своих ближних чересчур строго; ведь многие из них, мне кажется, не знают, что в их городе есть такое учреждение, как тюрьма.

В нашем селе был прежде обычай приветствовать должников, вышедших из тюрьмы, растопыривая перед глазами пальцы наподобие тюремной решетки. Мои соседи не делали этого приветственного жеста, но смотрели на меня, а потом друг на друга так, словно я

вернулся после долгих странствий. Меня посадили в тюрьму, когда я шел к башмачнику взять из починки башмак. На следующее утро, когда меня выпустили, я закончил начатое дело, надел починенный башмак и присоединился к компании, отправлявшейся за черникой и поджидавшей меня как своего предводителя; через полчаса — лошадь была быстро запряжена — я был уже посреди черничника, на одном из самых высоких наших холмов, в двух милях от города, и совершенно потерял из виду государство.

Такова история моих темниц[18].

Дорожный налог я никогда не отказываюсь платить, потому что так же хочу быть хорошим соседом, как плохим подданным; а что касается налога в пользу школы, то именно сейчас я и вношу свою долю в воспитание сограждан. Я отказываюсь платить не из-за того или иного пункта в налоговой ведомости. Я просто отказываюсь повиноваться требованиям государства и не хочу иметь с ним ничего общего. У меня нет охоты проследить путь моего доллара, если бы даже это было возможно, пока на него не купят человека или ружье, чтобы убить человека, — доллар не виноват, — но мне важно проследить последствия моего повиновения. В общем, я по-своему объявил государству тихую войну, хотя, как принято в подобных случаях, намерен тем не менее извлекать из него возможную пользу и выгоду.

Если другие платят требуемый с меня налог из сочувствия государству, они делают то же самое, что уже сделали раз за себя самих, то есть содействуют несправедливости даже усерднее, чем требует государство. Если они платят налог из неуместного сочувствия налогоплательщику, чтобы сберечь его имущество, а его самого избавить от тюрьмы, это потому, что они не поразмыслили, насколько они позволяют своим личным чувствам препятствовать общественному благу.

Такова моя нынешняя позиция. Но в подобных случаях человек должен быть настороже, чтобы на его поступок не влияло упрямство или чрезмерная оглядка на мнение окружающих. Пусть он выполняет только свой долг перед самим собою и перед временем.

Иногда я думаю: да ведь эти люди имеют добрые намерения, они просто не знают; они поступали бы лучше, если бы знали, как надо; зачем огорчать своих ближних, вынуждая их поступать с тобою так, как им не хотелось бы? Но затем я думаю: это не причина, чтобы и мне делать, как они, или причинять другим гораздо большие страдания иного рода. И еще я говорю себе иногда: если многомиллионная масса людей без злобы, без какого-либо личного чувства требует от тебя всего несколько шиллингов и не может, так уж она устроена, отказаться от этого требования или изменить его, а ты не можешь апеллировать к другим миллионам, к чему бросать вызов неодолимой стихийной силе? Ведь не сопротивляешься же ты с таким упрямством холоду и голоду, ветрам и волнам; и спокойно покоряешься множеству других неизбежностей. И голову в огонь ты тоже не суешь. Но именно потому, что эта сила не представляется мне целиком стихийной, а отчасти человеческой, и что с этими миллионами я связан как с миллионами людей, а не бесчувственных предметов, именно поэтому я вижу возможность апеллировать, во-первых, к их создателю, а во-вторых, к ним самим. А когда я сознательно сую голову в огонь, то не могу апеллировать ни к огню, ни к создателю огня и должен винить только себя. Если бы я мог убедить себя, что я вправе

довольствоваться людьми как они есть и относиться к ним соответственно, а не согласно моим понятиям о том, каковы должны быть и они и я, тогда, как добрый мусульманин и фаталист, я постарался бы удовлетвориться существующим положением вещей и говорил бы, что такова божья воля. Но между сопротивлением людям и чисто стихийной силе природы прежде всего та разница, что первым я могу сопротивляться с некоторым успехом, но не надеюсь уподобиться Орфею и изменить природу скал, деревьев и зверей.

Я не хочу враждовать ни с людьми, ни с народами. Не хочу заниматься казуистикой, проводить тонкие различия или выставлять себя лучше других. Скорей, я ищу предлог, чтобы подчиниться законам страны. Я даже слишком склонен им подчиняться. Эту склонность я сам в себе замечаю и каждый год при появлении сборщика налогов бываю готов пересмотреть действия и точку зрения правительств страны и штата, а также общественные настроения, чтобы найти повод повиноваться.

“ К отчизне надобно сыновнее почтенье,
И если ыне когда-нибудь случится
Священным этим долгом пренебречь,
Пусть это будет только по веленью
Души моей, и совести, и веры,
Но не затем, чтоб выгоду искать[19].

Я полагаю, что государство скоро избавит меня от всей такой работы, и тогда я буду не лучшим патриотом, чем мои соотечественники. Если рассматривать ее с низкой точки зрения, конституция при всех ее недостатках очень хороша; законы и суды — весьма почтенны; даже правительства Америки и штата во многом заслуживают восхищения, очень многими так и описаны, и мы должны быть за них благодарны; но с точки зрения хоть немного более высокой они именно таковы, какими их описал я, а с еще более высокой и с высшей кто скажет, каковы они и стоят ли вообще того, чтобы смотреть на них или о них думать?

Впрочем, до правительства мне мало дела, и я намерен думать о нем как можно меньше. Даже в этом мире я не часто бываю подданным правительства. Если человек свободен в своих мыслях, привязанностях и воображении и то, чего нет, никогда надолго не предстает ему как то, что есть, ему не страшны неразумные правители и реформаторы.

Я знаю, что большинство людей думают иначе, чем я; но с теми, кто посвятил себя изучению этих или подобных вопросов, я согласен не больше. Государственные деятели и законодатели, находящиеся целиком внутри здания, никогда не видят его ясно. Они намерены сдвинуть общество с места, а сами не имеют опоры вне его. Они, быть может, обладают известным опытом и проницательностью и, наверно, изобрели остроумные и даже полезные системы, за которые мы им искренне благодарны; но все их остроумие и полезность ограничены известными, отнюдь не широкими рамками. Они склонны забывать, что мир не управляется принципами благоразумия и целесообразности. Вебстер[20] никогда не вникает в дела правительства и потому не может говорить о нем авторитетно. Это — оракул для тех законодателей, которые не намерены проводить коренные реформы

существующего правительства; но для мыслителей и тех, кто создает законы на века, он даже не касается предмета. Я знаю людей, чьи ясные и мудрые размышления на эту тему легко разоблачили бы его ограниченность. Конечно, рядом с дешевыми фразами большинства реформаторов и еще более дешевым красноречием и мудростью политиков вообще это почти единственные разумные и ценные слова, и мы благодарим за них небо. Рядом с ними Вебстер силен, оригинален, а главное, практичен. И все же он силен не мудростью, но благоразумием. Истина законника — это не Истина, а всего лишь логика и логичная целесообразность. Истина всегда находится в согласии с самой собою и не озабочена доказыванием справедливости, которая способна совмещаться с дурными поступками. Вебстер заслуживает свое прозвище Защитника конституции. Он способен биться только в обороне. Это не вождь, а последователь. Его вожди — это деятели 87-го года[21]. Я никогда не делал, — говорит он, — и не намерен делать, никогда не поддерживал и не намерен поддерживать попытки нарушить первоначальное соглашение, по которому штаты объединились. О том, что конституция санкционирует рабство, он говорит: Раз так было в первоначальном договоре, пусть так и будет. Несмотря на остроту ума, он неспособен рассматривать факт вне его политических связей, как нечто такое, что решается размышлением — как, например, должен поступать человек в сегодняшней Америке в отношении рабства, — и вынужден дать следующий безрассудный ответ, заверяя, что это всего лишь его личное мнение, из которого можно вывести весьма новый и странный кодекс общественного долга. Штаты, где существует рабовладение, — говорит он, — должны управляться с рабством по своему усмотрению, неся ответственность перед избирателями, перед общими законами гуманности и справедливости и перед богом. Союзы его противников, возникающие в других местах как во имя гуманности, так и в других целях, не имеют к нему никакого касательства. Я никогда не поощрял их и никогда не стану.

Те, кому неизвестны более чистые источники истины, кто не проследил ее выше по течению, благоразумно останавливаются на Библии и на конституции и пьют из источника именно там, благоговейно и смиренно; но те, кому видно, откуда она просачивается в эти водоемы, снова препоясывают чресла и продолжают паломничество к самым истокам.

В Америке еще не было гениального законодателя. Они редки и в мировой истории. Ораторы, политики, красноречивые люди насчитываются тысячами, но еще не раскрывал рта тот, кто способен решить нынешние наболевшие вопросы. Нам нравится красноречие как таковое, не ради истин, которые оно может изречь, или героизма, на который может вдохновить. Наши законодатели еще не постигли сравнительного значения для нации свободной торговли и свободы, объединения и справедливости. У них не хватает таланта даже для таких сравнительно скромных дел, как налоги и финансы, торговля, промышленность и сельское хозяйство. Если бы мы руководствовались словоизлияниями законодателей Конгресса, без поправок, вносимых своевременным опытом и действенным протестом народа, Америка недолго удерживала бы свое место среди других наций. Евангелие написано вот уже тысячу восемьсот лет назад; хотя не мне бы об этом говорить, а где тот законодатель, у которого хватило бы мудрости и практического умения, чтобы воспользоваться светом, который оно проливает на законодательство?

Власть правительства, даже такого, которому я готов повиноваться — ибо охотно подчинюсь тем, кто знает больше и поступает лучше меня, а во многом даже тем, кто меня не лучше, — все же нечиста; чтобы быть вполне справедливой, она должна получить санкцию и согласие управляемых. Правительство имеет лишь те права на меня и мое имущество, какие я за ним признаю. Прогресс от абсолютной монархии к ограниченной, а от нее — к демократии приближает нас к подлинному уважению к личности. Даже китайский философ[22] понимал, что личность — основа империи. И разве демократия в том виде, какой известен нам, является последним возможным достижением? Разве нельзя сделать еще шаг к признанию и упорядочению прав человека? Подлинно свободное и просвещенное государство невозможно, пока оно не признает за личностью более высокую и независимую силу, источник всей его собственной власти и авторитета, и не станет обходиться с ней соответственно. Мне нравится воображать такое государство, которое сможет наконец позволить себе быть справедливым ко всем людям и уважать личность, как своего соседа; и которое даже не станет тревожиться, если несколько человек чуждаются его и держатся в стороне, лишь бы выполняли свой долг в отношении ближних. Государство, приносящее такие плоды и позволяющее им падать с дерева, когда созреют, подготовило бы почву для Государства еще более совершенного, которое я тоже воображаю, но еще нигде не видел.

Примечания

1 Лучшее правительство то, которое правит как можно меньше — Торо имеет в виду слова Эмерсона из второй серии его Очерков (1844): Чем меньше у нас правительства, тем лучше.

2 Первая строфа стихотворения английского поэта Чарлза Вулфа (1791—1823) На погребение сэра Джона Мура (1817). Пер. И. Козлова.

3 затыкать дыру, чтобы не дуло — Шекспир В. Гамлет, V, 1.

4 Шекспир В. Король Иоанн, V, 2. Пер. Н. Рыковой.

5 ...захваченная страна — не наша, а армия захватчиков — наша. — Речь идет о мексиканской войне 1846—1848 гг., целью которой было распространение на новые территории рабовладельческой системы. Великие дни начала мексиканской войны Торо высмеял в своей книге Уолден, или Жизнь в лесу.

6 Пэли Вильям (1743—1805) — английский философ и богослов. Имеется в виду его книга Принципы моральной и политической философии (1785).

7 Если я несправедливо вырвал доску у тонущего человека, я должен вернуть ее, хотя бы при этом сам утонул — этот пример взят Торо из философского трактата Цицерона Об обязанностях (Ш), который он читал в Гарварде.

8 Евангелие от Луки, 9: 24.

9 ...закваской для всего теста. — Первое послание апостола Павла к коринфянам, 5:6.

10 ...соберется съезд. — Имеется в виду съезд демократической партии США, состоявшийся в 1848 г.

11 Чудак. — Имеются в виду члены тайного масонского общества Чудак, возникшего первоначально в Англии в начале XVIII в., а в 1806 г. основанного в США.

12 ...тюрьмы в Каролине. — Имеются в виду обстоятельства поездки известного адвоката Самуэла Хоурда (1778—1856) в Чарлстон (Южная Каролина) в 1844 г. для защиты прав негров из Массачусетса. Грубое обращение южных властей с Хоурдом вызвало возмущение в северных штатах.

13 Евангелие от Матфея, 22:19.

14 Евангелие от Матфея, 22:21.

15 Конфуций. Лунь Юй (Беседы и суждения), XIV, 1.

16 Речь идет о случае с Торо в июле 1846 г., рассказанном также в его книге Уолден, или Жизнь в лесу (глава Поселок).

17 Когда я вышел из тюрьмы — ибо кто-то вмешался и уплатил налог. — Существуют различные точки зрения, кто заплатил за Торо налог. Семейная легенда приписывает этот денежный взнос, освободивший Торо из тюрьмы, его теткам.

18 ...моих темниц. — Имеется в виду книга итальянского поэта-карбонария Сильвио Пеллико (1789—1854) Мои темницы (1832), которая имела большой успех и была переведена на многие европейские языки.

19 Из 2-й сцены второго действия трагедии Битва при Алькасаре (1589) английского драматурга Джорджа Пиля (1558—1597).

20 Вебстер Дэниел (1782—1852) — американский государственный деятель, прославившийся как оратор. Далее Торо цитирует его речь 12 августа 1848 г.

21 ...деятели 87-го года. — В 1787 г. была принята конституция США.

22 Даже китайский философ... — то есть Конфуций (551—479 гг. до н. -э.), в основе учения которого лежит идея подчинения подданных государю.

Версия #4

Зверобой создал 23 июня 2025 20:27:50

Зверобой обновил 12 июля 2025 11:53:39